**Владимир ЕРМАКОВ**

**Столпник в толпе: парадокс Платонова**

**Опубликовано в журнале:**[**«Дружба Народов» 2010, №1**](http://magazines.russ.ru/druzhba/2010/1/)

***Публицистика***



*Ермаков Владимир* — поэт, эссеист, постоянный автор “Дружбы народов”. Публикации в “ДН”: “Путешествие из Китеж-града в Петушки, или Русская история в поисках своего смысла” (№ 3 , 2002); “Нездешним светом одержим.... Стихи” (№ 6, 2003); “Лыковые звезды на войлочном небе. Родная речь между раздражением и рассуждением” (№ 2, 2004); “...Кто остановит время, которое мы любили? Стихи” (№ 10, 2005); “Вещи, которые лучше молчания. Смерть автора и воскресение героя” (№ 2, 2006); “Быть услышанным” (№ 11, 2008).

*Жизнь как преступное занятие*

В звездной системе советской литературы прозаик и драматург Андрей Платонов не беззаконная комета в кругу расчисленных светил (таким был Осип Мандельштам), а скорее черный карлик: мощное гравитационное поле при отсутствии видимого спектра. Неузнанный гений, он был глубоко унижен в идеологическом плане и высоко вознесен на волне демократической критики, но так и не прочтен вполне и не понят до конца. Его то рядили в чужие обноски, зачисляя во враги народа, то примеряли ему мундир с чужого плеча, причисляя к классикам реализма. А он всегда иной и всюду чужой. Случай Платонова — сила без славы.

Андрей Платонович Платонов (1899—1951) родился на пороге ХХ века и умер на его переломе; родился в бедности, на рабочей окраине города Воронежа, и умер в пренебрежении, на отшибе писательской среды в городе Москве. Век великий и страшный — особенно в той половине, что отведена была ему под судьбу. Локомотив революции сдвинул с насиженного места Российскую империю и разогнался под уклон истории… *Время шло без тормозов*. Сын слесаря Платона Климентова в 15 лет стал сознательным пролетарием, в 19 студентом политехникума, в 21 пролетарским писателем. Платонов с юным энтузиазмом растворяет свою личную жизнь в стихии эпохи. Он всей душой с большевиками. *Эти вооруженные путники также были полны мужества и последней смелости, какие имела природа, вздымая горы и роя водоемы*. Искренне и глубоко переживший страсти революции и прошедший по мукам гражданской войны, Платонов горит красным пламенем и варится в гуще народа, проживает в глухих углах и живет в светлую перспективу, действует в рамках партийных установок и мыслит в мировом масштабе. В нем странным образом сочлись технический прагматизм мелиоратора (одержимого идеей *ремонта земли*) и романтический идеализм *инженера человеческих душ* (так Максим Горький определил ремесло писателя). Социальная теория немецкого экономиста Карла Маркса об устроении всеобщего счастья сосуществует в нем с метафизической мечтой русского философа Николая Федорова о воскрешении всех мертвых силой науки. А у диктатуры пролетариата было на уме иное: если враг не сдается, его уничтожают. А кто не с нами, тот против нас. Трагедия маленького человека стала материалом большого писателя. Русский бунт, по слову Пушкина *бессмысленный и беспощадный*, под руководством Сталина диалектически развился в классовую борьбу, безжалостную и бесконечную. Мерилом лояльности к советской власти стал *чиновничий героизм… Более мощный, чем военный, более глубокий и жуткий*. Что мог противопоставить ему писатель? Слова, слова, слова. Платонов понял: *История будет не та, что ожидают и делают. Это и есть коммунизм*.

Год великого перелома — 1929-й — стал водоразделом биографии. В записной книжке появилась странная фраза: *Социализм пришел серо и скучно (коллективизация) как Христос*. — тут же зачеркнутая. Святая простота Платонова меняет свой характер: если раньше он был в чине блаженного революции, то теперь становится ее юродивым. Раздраженный отклик (окрик) Сталина на рассказ “Усомнившийся Макар” послужил сигналом к началу травли. Одним из ее застрельщиков выступил Александр Фадеев: *Одним из кулацких агентов… является писатель Андрей Платонов, уже несколько лет разгуливающий по страницам советских журналов в маске “душевного бедняка”, простоватого, беззлобного, юродивого*. Критика была тем суровее, что имя Андрея Платонова к этому времени было уже авторитетно в стране и известно за ее пределами. Эрнест Хемингуэй, не склонный к преувеличениям, прочтя перевод рассказа “Третий сын”, определил автора в гении. Впрочем, ироничный Георгий Адамович, отдав дань таланту, разделил со всей эмиграцией скептическое отношение к его творчеству; запоздалое спасибо критику за это — признание эмиграцией стало бы приговором дома.

Попав в центр критического тайфуна, Платонов уже не выбрался из него. Он имел возможность на себе испытать шум и ярость нового страшного завихрения времени — большого террора. *Как испуг, тронутый преступлением в одном месте, идет кругами, захватывает покаянием всех и мир преображается в трепет души и понос желудка*. Платонов сделал эту помету в записной книжке в начале тридцатых годов. И позже добавил к ней одно слово: *Стихия*. Платонов вовлечен — если не в мясорубку террора, то в душегубку тотального страха. *Государственный житель* осознает свою личную *жизнь как преступное занятие*. Он вынужден присоединить свой голос к общему хору, но даже здесь Платонов сохраняет достоинство: *перефразируя известную мысль, можно сказать — социализм и злодейство — две вещи несовместные…* Понимай как знаешь. Если признать массовые репрессии обоснованными, то, выходит, социализма в стране нет. В 1938 году был арестован по обвинению в террористической деятельности и осужден приговором военной коллегии на исправительно-трудовые работы в северных лагерях Платон Андреевич Платонов. Сын стал ответчиком за отца. По меркам времени им обоим еще повезло. Сына не запытали заплечных дел мастера, отца не затравили сторожевые псы идеологии. Храни нас Бог от такого везения! Чудом оправданный и возвращенный из лагеря, сын изболел и умер на его руках в 1943 году.

Великая Отечественная война, мобилизовав все ресурсы страны на защиту Родины, вернула писателя в общий строй, в ряд. Доброволец Платонов, рядовой Красной Армии, назначен фронтовым корреспондентом в “Красную звезду”. Общая беда как бы вернула ему доверие советской власти. Общая победа стала для него новым поражением в правах. Если за четыре военных года он издает четыре книги, то после раскритикованного послевоенного рассказа “Возвращение” (1946) более уже ничего. Молчание вокруг него сгущается в забвение. Его лицо, *простое, как сельская местность* (определение современника) теряется в толпе. *Черты его личности уже стерлись о революцию*. Последние годы в нем обострились навыки юродства. Ходили слухи о службе в Литературном институте… дворником, — по милости руководящей бездарности, перед которой он с показным усердием ломал шапку. Человек невпопад: кое-как существует как обыватель лишь потому, что не существует как писатель. Впрочем, это всего лишь легенда. Было проще и гаже. Облеченные званиями завистники знали ему цену и потому не допускали в круг. Платонов не жаловался. Редкое окружение поражала его упорная неразговорчивость. Человек по Платонову — *немое горе вселенной*. Жизнь истратилась на страдания и истощилась нищетой. Нелюдимый и нелюбимый, он просто как бы исчез из виду, а там и совсем умер. Его смерть была логическим выходом из абсурдной ситуации.

Из того, что он писал в последние годы, в печать не прошло ничего. А то, что было опубликовано ранее, осуждено как идеологически чуждое и вычищено из библиотек. Лучшее, что породил социалистический реализм, оказалось ненужным реальному социализму. В оттепель, в шестидесятые годы, наследие Платонова было отчасти разморожено и допущено к умеренному потреблению в малой дозе. Для нового поколения читателей платоновская проза стала открытием иного этического и эстетического пространства. Но шедевры зрелого Платонова — повести “Котлован” и “Ювенильное море” и романы “Чевенгур” и “Счастливая Москва” вышли в свет лишь в конце социализма. Вышли на свет из-под развалин идеологии. А часть рукописей — в том числе и роман “Путешествие из Москвы в Петербург” — пропала в нетях. *Народ без меня не полон*, — сказал о себе как о каждом Андрей Платонов. Как
знать — не рухнул ли советский строй лишь потому, что отсутствие платоновских идей в его основе сказалось слабостью идеологического основания. *Революция опустошила массы… жизнь порожняком*. Народ оказался не полон изъятыми людьми и не вынес тяжести истории.

*Я не говорил, а думал*

В основе русской ментальности лежит осознание нераздельности и неизбывности трагического удела: *Христос терпел и нам велел*. На Руси от века беда как река, и горе как море. Как видел Платонов отечество с высоты своего гения? — *Вся Россия населена гибнущими и спасающимися людьми*. Старинный способ спасения — уход от мира. В монастырь, в скит, в затвор. На вершине православного аскетизма стоит столпник — святой подвижник, спасающийся на столпе, то есть на возвышенном месте с минимальным пространством существования. Стеснение тела имеет целью сосредоточение души, а пребывание над миром — приближение к небу. Но выход для одного себя — не выход, а лазейка в небо. Русская интеллигенция сложилась как особая порода людей на моральном императиве жертвенности своего просвещенного ума темному народному горю. Кредо гордого отказа от личного благополучия в годину общих бедствий выразила Анна Ахматова: *Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был*. Национальное чувство обостряется в экстремальном опыте: *на миру и смерть красна*. Позиция Платонова как интеллигента — невыход из народа. Подвиг неподвижности нравственных норм относительно душевного смятения. Равночестный подвигу опрощения Льва Толстого, бежавшего от мучения ума в душевное горе.

Однако в опыте радикального альтруизма открылась пропасть, в которую фатально канули тысячи неосторожных идейных доноров — романтических начетчиков и прекраснодушных налетчиков. Народ не пассивная масса, а агрессивная среда. Революционные массы усваивают передовые идеи, растворяя в себе индивидуальность их носителей. Слабому духу уйти в мятежный народ, что голому телу войти в соляную кислоту. Чтобы сохранить свое место в массе, нужно быть как все или уйти в себя. Платонов совершил нечто невообразимое: он как бы отменил в себе личное во имя общего, оставив *в темноте своего тела тихое место, где ничего не было, но ничто ничему не препятствовало начаться*. Столп Платонова — он сам: тело укреплено как башня из черной кости, а душа вывернута как колодезь наизнанку. Осознанно или нет, но Платонов внял Божьему завету: *сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее*. (Матф.10:39) Свой писательский талант он буквально положил божьим даром. Так в античной ментальности работал оракул: теряя рассудок в наркотическом трансе, чтобы стать органом божественной речи. В писательском труде Платонова как бы наличествует чистый творческий акт — без участия личности творца. Литература для Платонова не профессия и даже не призвание: это его способ участия в общественном деле и соучастия в общей доле. Свой писательский опыт он обобщил так: *я не говорил, а думал*. Но думал не от себя и не за себя, а обо всех и за всех. Оттого не обособлял ум и не обустраивал быт, но вверял мысль стихии мышления и судьбу течению времени. Как один из его героев, *он считал общую жизнь умней своей головы*.

Парадокс Платонова в присвоении и приватизации общественного сознания. *Нельзя**одному выдумать с*<*мысл*> *ж*<*изни*>*. Трагед*<*ийный*> *факт: мысль — одиночество*~~.~~ Эта полушифрованная и вычеркнутая запись в книжке 1930 года выражает трагедию его жизни как логическое противоречие. Магистральное мышление и маргинальное существование. Он столпник в толпе: его уникальность в его всеобщности. Писатель Виктор Ерофеев в эссе о Платонове, выделив особую роль местоимения МЫ в родном менталитете, счел, что *платоновский язык можно назвать языковым коллективным подсознанием русского мира*. Это не совсем верно. Описание феномена Платонова не вмещается в рамки психоанализа. Платонов — явление метафизической природы человека, случившееся в языке. Лотман в поздней книге “Культура и взрыв” утверждает, что *сознание возникает из паузы между импульсом и реакцией*. Иными словами, сознание проистекает из разности между настоящим и настающим. Напряжение в зазоре времени вызывает в лабиринте мозга фантом психики. В ходе реакции иллюзий на реальность образуется личность. Функция сознания, взаимодействующего с материей. Страдательная и действительная форма глагола. Высказывающая себя миру и становящаяся в речи. *Пока слова не скажешь, то умным не станешь, оттого что в молчании ума нет — есть одно мучение чувства*. Марксизм породил в борьбе за массы невозможное ранее понятие *общественное сознание*. Осознающее МЫ. Эта прекрасная химера однажды обрела язык и заявила о себе. Под псевдонимом Платонов.

В эссе Иосифа Бродского “Катастрофы в воздухе” гений Платонова представлен как гений места. *При чтении Платонова возникает ощущение безжалостной, неумолимой абсурдности, исходно присущей языку, и ощущение, что с каждым новым, не важно чьим, высказыванием эта абсурдность усугубляется… Платонов говорит о нации, ставшей в некотором смысле жертвой своего языка, а точнее — о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшем от него в грамматическую зависимость. По всему по этому, вероятно, Платонов абсолютно непереводим и до известной степени это благо — благо тому языку, на который он переведен быть не может*. Бродский прав, но не вполне. Причина возникновения языка — Божья искра: короткое замыкание сознания в высшей нервной системе. Если дать ему волю, он нещадно вылизывает извилины мозга и нежно зализывает душевные раны. Язык, забывший о своем происхождении из немоты, теряет иммунитет к небытию. Культуру, язык которой намертво связан логикой, хаос может застать врасплох. В тезаурусе языка должен быть резерв средств для прояснения мрака. Из переживания художником *ужаса, заключенного в пригоршне праха*, вырабатывается экзистенциальная вакцина в форме произведения искусства, прививка которой спасает человека от отчаяния, а цивилизацию от импотенции. Интенция языка — интуиция нации. Что не дается через понятие, удается по наитию.

В прозе Платонова язык и речь сливаются в отсутствие субъекта высказывания. Исчезает зазор между словом и предметом, открытый в лингвистике Фердинандом де Соссюром и казавшийся непреодолимым. Пафос Платонова в опровержении апории поэта Тютчева *мысль изреченная есть ложь*. Основа платоновского текста не предложение как проводник мысли, но фраза как разряд смысла. Это не прямая речь, но спонтанная. Выбирая образ для сравнения в метафорическом поле между фольклором и литературой, можно сказать, что слово Платонова не *воробей* из пословицы *— вылетит не поймаешь*, скорее *слепая ласточка* Мандельштама — та, что *в чертог теней вернется*… Язык Платонова происходит из разрыва меж словом и смыслом. Мысль Платонова уходит в бездну меж знаком и значением. В черное зияние, за которым уже ничего, кроме последней тайны. В четвертое измерение. Поэтому все филологические понятия не работают в поле напряжения платоновской прозы. Его жанр не лирика и не сатира; его текст не нарратив и не дискурс. Нечто иное, чем все. Текст Платонова — открытая система: начало не имеет в себе причины и конец не достигает цели. Структура текста аналогична фактуре. Слова в прозе Платонова сорваны с грамматических орбит и под тяжестью смысла спрессованы в материю понимания. Всякий метод для него — инструкция к заблуждению и всякий стиль лишь инструмент лжи. Он отъявленный реалист, но не в рамках социалистического реализма как метода, а в средневековом смысле понятия. То есть оперирует универсальными понятиями как реальными сущностями. Мир, в котором живут и действуют персонажи его прозы, гиперреален. Пространство существования заросло рожью и бурьяном, но заполнено иными вещами. Если, бегло пролистывая, пустить веером страницы его книг, глаз выхватит из частотного словаря ключевые слова. Слова-сваи, на которых стоит мир по Платонову. *Жалость. Жестокость. Тоска. Тщета. Равнодушие. Справедливость. Существо. Вещество. Жизнь. Существование. Душа. Тело. Пища. Смерть. Мысль. Радость. Нежность. Сознание. Истина. Терпение. Прок. Сила. Счастье. Стыд. Теплота. Размножение. Трение. Пустота. Сомнение. Слабость. Покой*.

Как представить себе зримый образ платоновской прозы? Вообразите себе сюжет Иеронима Босха, исполненный Андреем Рублевым. Выйдет похоже… но не то, не то!

*Самодельные люди неизвестного назначения*

Идейный и образный мир прозы Платонова это прежде всего великое множество персонажей. Они появляются из ничего и исчезают в нигде, — странствующие, странные — несущие в себе смысл, но не имеющие значения. Мир по Платонову целиком и полностью выражается в его персонажах. Каждый персонаж Платонова имплицитно содержит породивший его мир. Микрокосм = макрокосм. Метатекст Платонова — семиосфера: из авторской речи и речевой практики словно сама собой производится новая реальность, не совпадающая ни с благими намерениями социалистического реализма, ни с очевидными для историка реалиями социализма. Язык для Платонова не способ описания действительности и не рабочий инструмент рефлексии, но единственное средство самореференции реальности. Вот, к примеру, нейтральная реплика: *кругом беспрерывно нагнеталась общественная польза*. Корень зла таится в корне глагола: *гнет*. Технический термин исподволь наполняется социальным содержанием. Это Платонов. *Железной рукой загоним человечество к счастью*. Это девиз карательных органов СССР. Галлюциногенная лексика революции: лозунги сбраживают реальность в кошмар, порождающий химеры. Самое поразительное, что единственным надежным антидотом идейному насилию над личностью оказался житейский здравый смысл. *Люди начали лучше питаться и почувствовали в себе душу. Звезды же не всех прельщали — жителям надоели большие идеи и бесконечные пространства: они убедились, что звезды могут превратиться в пайковую горсть пшена, а идеалы охраняет тифозная вошь*. Опыт выживания в социализме народ подытожил просто: человек не скотина, ко всему привыкает. Даже к счастью — под угрозой расстрела. А куда деваться…

Лидеры революции, теоретики и практики, застрельщики и расстрельщики, при всех разногласиях едины в главном: мир надо пересоздать — и человека тоже. Мять как глину, месить как тесто — вылепить и выпечь нечто новое, лучше прежнего. Антропологическая теория и практика революции дана в лексеме: *человеческий материал*. В промежуточной стадии новый человек непригляден и невзрачен. В революционной ментальности Народ с большой буквы — идеал, а народ с маленькой
буквы — сволочь… Безобразный = без***о***бразный. Не то что уродливый, но не имеющий образа! Старорежимный образец хорошего человека отменен и запрещен, а новый, замешанный на марксистской закваске и выпеченный на огне классовой ненависти, вышел неказистым. Известно: первый блин комом. Вот и первое поколение homo soveticus вышло из горнила революции негодным к социализму. Нерадостным, недобрым, некрасивым. Платонов, сам такой, жалел и любил своих современников и свидетельствовал о коммунистической вере всей мощью своего гения. Словно некий советский шаман, уповая на магию слова, он вызывал священный огонь на себя и призывал на головы всех трудящихся светлое будущее. *А некрасота, это преходящее состояние человека, когда он в мучительности*. Эта запись сделана 29 августа 1931 года в командировке — на вокзале города Самары. В замусоренном шелухой семечек и окурками папирос зале ожидания писатель огрызком карандаша на клетчатом листочке расписался в своем страдании и заверил свою надежду. Одной пронзительной фразой выразил блеск и нищету эпохи.

Коммунистическая революция, определившая целью построение бесклассового общества, критерием нового мира положила пролетария, то есть наименее обремененного культурой и наиболее оторванного от традиции человека. Способом же достижения столь смутной цели стала революционная инициатива масс. Продукт реализации утопической идеи в экстремальном опыте гражданской войны — *самодельные люди неизвестного назначения*. Исполненные любви и ненависти, отчаяния и надежды, они переполняют рассказы и очерки, повести и романы, репортажи и пьесы Платонова. Имя им — народ.

Герой Платонова — порождение переходного времени — из неизменности мифа через испытание историей в неподвижность утопии. В нем нераздельно и неслиянно даны две природы: священный мазохизм великомученика и сакральный садизм великого инквизитора. Жрец и жертва в одном лице. Таковы действующие лица главного романа “Чевенгур” — Дванов, Чепурный и Копенкин. Они как бы обладают этической амбивалентностью. С одной стороны, отважны и беззаветны, словно три богатыря из русских былин, с другой — жестоки и безоглядны, словно разбойники из народных небылиц. Самый поразительный из них — Степан Копенкин: человек ниоткуда. Он мечтает об особом и действует особняком. Странствующий рыцарь пролетарской революции. Кругом *постороннее пространство*, и в нем скитается в поисках обетованного времени и совершает прекрасные преступления рыцарь нелепого образа. Просматривается параллель с историей Дон Кихота, только Божье безумие поразило на сей раз Санчо Пансу, наслушавшегося революционной фразеологии. Его лошадь Пролетарская Сила, обладающая грузной комплекцией и питающаяся грубым кормом, также явный антипод Росинанту. На должность Прекрасной Дамы Революции в воспаленном воображении посмертно назначена немецкая коммунистка Роза Люксембург. Прекраснодушие защитника угнетенных странным образом совмещается с жестоким фанатизмом. *Он не понимал и не имел душевных сомнений, считая их изменой делу революции*. Реинкарнация образа в реальной истории — очарованный странник террора Эрнесто Че Гевара.

В истоках коммунистической идеи явно просматривается пресловутый тезис Протагора: человек — мера всех вещей. Пафос всех великих революций в обновлении критерия. То есть в очищении его. Такова же суть христианства в интерпретации Павла: *ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху* (Послание к римлянам; 6:6). Цель праведной жизни — совлечь с себя ветхого Адама, покрытого коростой истории, очиститься до самой сути. Критерий истинного мира, царства божьего на земле — *сокровенный человек* (так называется рассказ Платонова). Обыкновенного человека, обывателя истории, нещадно ощипывают как птицу заживо. Словно руководствуясь формулой античного систематика: человек — двуногое без перьев. Идея философской вивисекции исходит из Платона: вычитая из человека личность, моралист как бы освобождает место для врожденных идей. По понятиям средневековой схоластики логическая операция такова: чтобы высвободить сущности, скальпелем Оккама отсекаются акциденции. В переводе на современную терминологию — архетипы расчищаются от наслоений стереотипов как старинные иконы от поверхностной мазни. Таким образом, всякое моральное насилие над личностью производится для того, чтобы высвободить из наслоений времени первозданный образ Божий или просвещенческую парадигму личности *благородного дикаря*… а что выходит? В конце концов оказывается, что личность не оболочка, а сущность души. За вычетом личности выявляется дикая человеческая природа… то есть — животная.

В более точном прочтении тезис Протагора имеет иной смысл: *человек есть мера всем вещам — существованию существующих и несуществованию несуществующих*. Последнее чрезвычайно важно для понимания механизма отторжения человеком вымышленного образа жизни, насильно внедряемого в ходе революции. Идея, овладевшая массами, поглощается действием. Извращается в разрушение или превращается в созидание. В насилие. В работу. В творчество. Муза Андрея Платонова — инверсия. Инверсия как строй синтаксиса, отражающий процесс извращения идеи в процессе ее вербализации. Инверсия как метод выявления сокровенного человека — выворачивание души наизнанку. Инверсия как способ преобразования жизни — строительство социализма в одной отдельно взятой под стражу стране. Определяя своих героев как *самодельных людей неизвестного назначения*, автор не то чтобы лукавит (заподозрить в лукавстве можно каждого советского писателя, кроме Платонова), но не говорит опасной для него правды. Человек по Платонову — критерий разделения существующих и несуществующих вещей. Надежным способом душевного страдания отделяющий одно от другого.

*Преодоление постороннего пространства*

Течение естественной истории в человеческом масштабе невообразимо медленно. Ее символом для Платонова стал валун, принесенный языком ледника из Финляндии в середину России. Социальная история движется в ином темпе, и все же недостаточно быстро, чтобы успеть исполнить благие намерения каждой эпохи. *Время безнадежно уходило обратно жизни*. Революция мыслится как ускорение прогресса, а случается как завихрение времени. Между старым и новым порядком возникает зона хаоса. Чтобы представить себе меру величия и степень падения идеи коммунизма в России, необходимо и достаточно прочесть две книги: “Краткий курс ВКП (б)” под редакцией И.В.Сталина и роман “Чевенгур” А.П.Платонова. При их сопоставлении возникает своего рода озарение — вольтова дуга понимания, в которой мгновенно сгорает пыльная паутина идеологических догматов и житейских предрассудков.

Место действия повестей и романов Платонова, при всей его тщательной топографической прописанности, находится где-то в ином мире. Чевенгур, расположенный по всем приметам и признакам на Среднерусской возвышенности, на карту не нанести. История не совпадает с географией. Человек не может найти себе места на земле, потому что на сто лет вперед потерянное время и на тысячу верст кругом постороннее пространство. Из тупика истории может быть только революционный выход. Тотальная утопия Платонова не рассудочное измышление Платона, изложенное в диалоге “Государство”, а сердечное переживание идеи коммунизма как возможности абсолютного счастья. Эту веру он передоверял своим героям. *Он находил необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость*. В надежде Платонова на революцию Маркс совмещается с Федоровым как две разорванные ипостаси Христа в его втором пришествии. Его герои заняты тем, чтобы приуготовить дорогу всеобщему счастью, прямыми сделать пути его. Преодолеть постороннее пространство, захламленное отходами прежней жизни.

Изничтожение местной мелкой буржуазии и последующие зачистки территории, отведенной под строительную площадку коммунизма, — секуляризованный Страшный Суд. Отделение овец от козлищ. С составлением расстрельных списков. Но — все навыворот. Согласно постановлению чевенгурского революционного комитета, взявшего историю в свои руки, *Советская власть предоставляет буржуазии все бесконечное небо, оборудованное звездами и светилами на предмет организации там вечного блаженства; что же касается земли, фундаментальных построек и домашнего инвентаря, то таковые остаются внизу — в обмен на небо — всецело в руках пролетариата и трудового крестьянства. В конце приказа указывался срок второго пришествия, которое в организованном порядке уведет буржуазию в загробную жизнь*. Темное сознание, одержимое светлыми помыслами, выражая свое разочарование в христианстве, не исполнившем своих эсхатологических обещаний, берет Божье дело в свои руки и творит его наоборот. Ключ к метафизике “Чевенгура” скрыт в незначительном эпизоде смерти малолетнего побирушки. Умирая на руках убогой матери, он видит в бреду, *что мать вынимает его за голову из сумки, где ему было тепло среди мягкого хлеба, и раздает отваливающимися кусками его слабое тело, обросшее шерстью от пота и болезни, голым бабам-нищенкам*. Травестия таинства причастия усугублена пародией несостоявшегося воскресения маленького антихриста. Эта сцена своего рода антипасха в буквальном смысле. Тем не менее пафос текста не кощунство, а священномученичество. Потому что все творчество Платонова суть свидетельство его веры.

Фабула “Чевенгура” — попытка построения коммунизма в одном отдельно взятом заштатном городишке. По мнению чевенгурцев, коммунизм — естественное состояние сокровенных людей. Революционная инициатива масс сводится к уничтожению всего, что препятствует его самопроявлению. *Это счастье жизни уже есть на свете, только оно скрыто внутри прочих людей, но и находясь внутри — оно все же вещество, и факт, и необходимость*. В истории идей такому статусу соответствует платоновская *алетейя*. Мартин Хайдеггер так трактует термин aletheia: истина присутствует в мире таким образом, что ее непотаенность требует целенаправленного усилия для своего обнаружения. Этот парадоксальный статус очевидности и есть метафизическое обоснование революционного метода чевенгурцев. Целенаправленные усилия по обнаружению самородного коммунизма сводятся к запрещению всякого труда как занятия, чреватого эксплуатацией и потому для коммунизма вредного. *В России революция выполола начисто те редкие места зарослей, где была культура, а народ как был, так и остался чистым полем, — не нивой, а порожним плодородным местом. И Дванов не спешил ничего сеять: он полагал, что хорошая почва не выдержит долго и разродится произвольно чем-нибудь небывшим и драгоценным, если только ветер войны не принесет из Западной Европы семена капиталистического бурьяна*. Самородный коммунизм, как оказалось, может быть только первобытным. Чевенгурцы, лишенные всего, кроме существования, сбиваются в стадо: греются друг об друга. Открывшийся на пустом месте абсурд как черная дыра в социальном поле втягивает в себя и уничтожает окружающую реальность.

Основные персонажи не столько движут сюжет, сколько движутся в вязкой фабуле.

Событие истории — не факт, а веер интерпретаций, сквозь который продирается человек. *Впечатления… густо затемняли сознание… не оставалось силы для собственного разумного размышления*. Масса живет в мифологическом времени, обладающем непрерывностью. Христианство, запустившее исторический процесс, не смогло разомкнуть замкнутый круг народного быта. Революция смогла его разорвать, вогнав клин меж данным и должным. Но вместо выхода из обыденности обнаружилось зияние. *Счастье всегда в отсрочке*. Образ грядущего — мираж: зрим, да недосягаем. Жизнь истекает в трещину между настающим и настоящим. И только вера дает робкую, но упрямую надежду, что этот процесс не дурная бесконечность, а полезная работа существования. Постороннее пространство и пустое время постепенно заполняются веществом жизни. Поколение за поколением засыпает пропасть своим прахом.

Мучительный эпилог “Чевенгура”, в котором гибнут не только все герои, но и все надежды, содержит больше правды о поражении человечности в гражданской войне, чем вся вымученная эпопея Шолохова. Самосев коммунизма нещадно выпалывается Советской властью. *Сокровенный человек* на рандеву с историей оказался *лишним человеком*. Так перекликаются названия рассказа Андрея Платонова и повести Ивана Тургенева, как бы воссоединяя генеральную линию русской литературы — гуманистическую традицию. Трагедия разлада личности с обществом перешла как ведущая тема от классика к классику через бездну разности мировоззрений и стилевых различий. Противоположности свело. Причем тут стили и методы, если душа ноет, растревоженная чужой бедой как своей. Человека жалко, жалко до боли сердечной.

В русском языке утопичность традиционно переводится как беспочвенность. Но если построить внутри словаря аналог греческому слову *утопия*, то получится нечто вроде *внездесь* (*в нездесь* и/или *вне здесь*). То есть не то, чтобы нигде, но вне данного места. После упоения утопией наступает горькое отрезвление. *Мужику от земли один горизонт остается*. А все что до него — постороннее пространство, которое не преодолеть. От революции остается один горизонт: прогресс. И надежда, что все к лучшему. *Сейчас только плохо… — это прогресс покуда не кончился, а потом сразу откроется счастье в пустоте*. В октябре 1931 года на берегу Балтийского моря Платонов, укрывая ладонью листок, записывает в блокнот: *Революция, как ветер, твердый, всемирный, сильный, как неживой, нечеловечный*. И в другом месте нервным карандашом формулирует свой новый взгляд на соотношение личности и истории: *выветрить из себя всю надоевшую старую душу и взять другой воздух из дующего ветра*. Задолго до Фуко и Бодрийяра Платонов ставит вопрос о смене парадигмы личности на пороге третьего тысячелетия.

*Безысходное место посреди человека*

Попытку смоделировать строительство социализма Платонов предпринимает в повести “Котлован”, выдающейся из ряда утопий и антиутопий неопределенностью и глубиной. Философская идея, превращенная в фабулу, словно взята из древней китайской мудрости, из учения *дао*. Платонов обозначил ее так: *Странно, но необходимо, что в мире существуют пустоты для вмещения всего без субъективных помех*. Содержание книги — рытье котлована под фундамент огромного светлого дома, в котором будут жить хорошие люди. Это занятие в символическом плане осмысливается как диалектическое удаление постороннего пространства путем преобразования его в пустое. Земляными работами в прежней России занимали каторжников. Коммунисты мобилизуют на трудовой фронт всех и вся. Герои повести знают, что им не будет места в светлом будущем, но готовы истратить себя в труде, перерабатывая мучение настоящего в грядущую радость. *Все бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована*. Ибо котлован не просто дыра в земле, а фундамент для *будущего неподвижного счастья*. То есть основание рая на земле. Начало обетованного времени Ветхого Завета. *Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше*. (Ис.66:22) Надежды добровольных рабов стройки возложены на девочку-сиротку, прибившуюся к коллективу. Ей жить.

Но — человек предполагает, а Бог располагает. Искаженное пространство заполняет не благодать небесная, а хтоническая сила — как подземные воды. Закладывая фундамент рая, копают вход в ад. Нет, отнюдь не случайно чертовщина в это время занимает умы великих современников. Коммунизм в голову, а бес в ребро. В год Великого Перелома (1929), когда Андрей Платонов работает над “Котлованом”, Михаил Булгаков пишет первую редакцию романа о дьяволе, а признанный певец революции в поэтическом докладе ее покойному вождю так отчитался за товарищей: *товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже*. Через год, словно осознав нечаянную правоту своих слов, Маяковский застрелился. Впрочем, не лишена вероятности версия об устранении утечки информации оккультным отделом ОГПУ. В эпиграф романа “Мастер и Маргарита” Булгаков вынес самореференцию нечисти из “Фауста” Гете: *Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо*. В ходе революции не только потеряно чувство реальности, но и утрачены критерии добра и зла. Большевик — зеркальное явление Мефистофеля: он часть той силы, что вечно хочет блага, а творит зло. В текстах Платонова эта мысль проходит как бы вскользь. *Секретарь был приучен большевизмом к беспощадному разложению действительности*. И далее. *Если нельзя сплотить людей на основе родства, то можно их соединить на основе мучительства*. Это ли не адовая работа? Поверив в наваждение, русский народ сам себе вырыл яму. Чем кончилось дело в повести? — сиротка Настя умерла, и позитивный смысл работы утратился. Бесконечно расширяющийся и углубляющийся котлован — братская могила коммунизма.

Иосиф Бродский определил мир по Платонову как *фон, пожирающий героя*. Это так — и не так. Это взгляд извне. Внутри же все выглядит наоборот: герой, поглощающий фон. *Большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться*. Очень точное и верное замечание Виктора Ерофеева ближе подходит к существу вопроса: *Платонов углубляется в онтологию через национальную ментальность, тем более что в момент социального кризиса она обнажается*. Более того. В своей прозе Платонов совершает символическое самоубийство автора, чтобы предоставить слово самому себе. Природа языка не терпит смысловой пустоты. Изведение личности, разделяющей сознание и материю, открывает четвертое измерение внутри человека.

Парадокс Платонова — кольцо Мебиуса, образовавшееся в сознании. Попробуем представить себе в плоскости размышления отношение познания к реальности как замкнутый круг, внутренняя сторона которого обращена к нашей самости, а внешняя к окружающей действительности. В терминах философии наружное давление определяется как онтология, а возникающее напряжение как экзистенция. Платонов посредством нелинейной логики через четвертое измерение языка вывернул кольцо таким образом, что оно превратилось в одностороннюю поверхность. Язык снял бинарную оппозицию субъект/объект. Разграничение между внешним и внутренним исчезло. Бытие непосредственно являет себя в существовании. Совпадает с ним. Это и есть конец света. *Истина — тайна, всегда тайна. Очевидных истин нет*. Откровение по сути всегда Апокалипсис. От Иоанна Богослова и от Андрея Платонова. Познав истину, дальше жить незачем. И нечем. Человек жив надеждой, а надежда в тайне. *Надежда не может сбыться и бьется внутри человека: если она сбудется, человек умрет; если не сбудется — человек останется, но замучается, — и сердце бьется на своем безысходном месте посреди человека*. Пролог иудео-христианской истории заключила горькая истина Екклесиаста: во многой мудрости много печали. Платонов суммирует опыт эпилога: в голой правде великое горе. *Хотя они и владели смыслом жизни, что равносильно вечному счастью, однако их лица были угрюмы и худы, а вместо покоя жизни они имели измождение*. Больше надеяться не на что. Лучше уже не будет. Но это не значит, что не будет иначе. История продолжается. Забыв об истоках и утратив берега. Уже не как река, но как течение в безбрежном океане времени. В соленой воде слезы становятся пресными — напрасными. Трагедия нашего времени в истощении трагичности. На место протестантской этики и коммунистической веры в массовом масштабе явился эсхатологический цинизм. Постмодерн это не конец истории, как наивно предположил философ Фрэнсис Фукуяма. Постмодерн это конец света под сурдинку. Конец всякой надежды. Жизнь продолжается просто так. История утрачивает человеческое измерение. По слову писателя, человеку остается лишь *самоистощение в пустяках*. В пустом сердце эпохи место Платонова занял Набоков. *Набоков против Платонова все равно, что канатоходец против альпиниста, взобравшегося на Джомолунгму*. Так сопоставил масштабы двух гениев третий — Иосиф Бродский. И еще о “Котловане” как вершине творчества Андрея Платонова: *пик, с которого шагнуть некуда*. Так казалось со стороны. Но Платонов реализовал в своей судьбе дзэнский завет: *достигнув вершины, продолжай восхождение*. Поэтому человечество потеряло его из виду.

Как сложилась судьба его наследия? В мире — никак, на родине — кое-как. Реформаторы обошлись с Платоновым как революционеры с Гоголем: хищнически выбрали поверхностный слой социальной критики, а остальное забросили за ненадобностью. 1999 год — столетие Набокова и Платонова. Набоковский юбилей отмечен изданием прекрасного собрания сочинений в десяти томах, двухтомника лекций, комментария к “Евгению Онегину”, книги интервью, переводом монументальной биографии и проч., и проч… Платонова как бы нет: даже издание неудачного пятитомника остановлено — разве что “Записные книжки” вышли тиражом 1000 экз.

Иосиф Бродский написал в послесловии к американскому изданию “Котлована”: *первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отменить существующий миропорядок и объявить новое время*. Наверное, никто не дочитал Платонова до конца. Потому что он продвинулся в своем подвижничестве дальше всех — зашел туда, где кончаются слова и останавливается мысль. Со своего столпа Платонов видел дальше, чем кто-либо из современников. Экстремальный опыт коммунистического эксперимента Платонов сконцентрировал в одной фразе: *В то время Россия тратилась на освещение пути всем народам, а для себя в хатах света не держала*. Растратилась. Распалась. Разорилась. Но вот парадокс: *страна темна, а человек в ней светится*. Это Андрей Платонов. А вот другой автор, но словно о том же: *И свет во тьме светит, и тьма не объяла его*. Это Иоанн Богослов. И так странно с противоположных концов истории перекликаются их голоса…